

11111

Annotation

Этот цикл Доде написал в Шанрозе, непосредственно после завершения «Рассказов по понедельникам». Одновременно Доде работал над повестью «Робер Эльмон», которая вышла в 1874 году в издательстве Дантю в одной книге с «Этюдами...».

- [Альфонс Доде](#)
 - [МАРИ-АНТО](#)
 - [ФОТОГРАФ](#)
 - [КАБЕСИЛЬЯ](#)
 - [ВУДСТАУН](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Альфонс Доде

Этюды и зарисовки

МАРИ-АНТО

© Перевод К. Ксаниной

Портрет корсиканки

— ...Хорошо, я расскажу вам эту историю, — сказал со смехом барон Бюрде, — однако предупреждаю вас: она немножко игрива, и при дамах... Но все же я попытаюсь. Если я зайду слишком далеко, остановите меня.

Итак, повторяю, я получил должность советника префектуры в Аяччо, прибыл я к месту моего назначения несколько взволнованный. То было начало моей служебной карьеры. А тут еще переезд по морю, пятнадцать часов немилосердной качки, неприветливый вид этого острова с его красноватыми утесами, где носятся чайки, и, кроме всего прочего, две-три истории о бандитах и вендеттах, которые мне рассказали на корабле. Короче говоря, когда я сходил на берег, я был в прескверном расположении духа. То, что я услышал в префектуре, меня окончательно смутило. Префект, хотя мы с ним были одни в его кабинете, все время говорил со мной шепотом и с тревогой на лице:

— А главное, будьте осмотрительны, молодой человек. Вы попали для начала вашей служебной деятельности в опаснейшие места. Люди здесь обидчивы, недоверчивы и мстительны... Удары кинжалом и выстрелы из ружья повторяются, правда, не так часто, как в старое время, но зато доносов и анонимных писем не обобратся. Не связывайтесь решительно ни с кем. Здесь нет маловажных происшествий, здесь все имеет значение... Вы, скажем, повздорили с ловцом сардинок, а он, оказывается, кузен господина Баччоки,^[1] и вот вы уже восстановили против себя всю империю! (Все это, разумеется, происходило во времена империи.) Да вот вам пример: видите старика садовника? Он поливает мои лилии и курит большую глиняную трубку. Это муж кормилицы министра внутренних дел. Вы можете себе представить, как я с ним бережно обхожусь... Итак, любезный советник, еще раз предупреждаю вас: обдумывайте каждый шаг.

Я вышел из префектуры еще более подавленный, чем при входе в нее. Но когда я очутился на воздухе, живописное своеобразие улицы, цветущие лимонные деревья, солнце, море, яркое бирюзовое небо и хорошенькие работницы, которые свертывали сигары у дверей своих жилищ, посмеиваясь над прохожими, — все это быстро рассеяло мое скверное

настроение.

Мне было довольно трудно подыскать себе квартиру. Я хотел непременно поселиться так, чтобы мои окна выходили на море, а в Аяччо (не могу понять, что это за странная причуда) почти все дома обращены к нему задней стороной. В конце концов я все же нашел на самом краю города, у некоей вдовы Перрини, две большие меблированные комнаты с видом на залив, на чудесное сочетание утесов, воды и зелени. Если не считать пейзажа, место это было малоприятное. Чтобы добраться туда, надо было пройти унылую и пустынную набережную без парапета, без фонарей, с отвратительным обширным водоемом, куда возчики пригоняли скотину. По вечерам, когда я возвращался из клуба, мне приходилось ощупью отыскивать свой дом, пробираясь среди ругани, ударов дубинкой и мокрых, лягавшихся мулов. А что это был за дом! Огромный сарай, высокий и холодный, выкрашенный по итальянскому обычаю в зеленый цвет. Каменные полы, гулкая тишина старого монастыря и, в довершение этой мрачной картины, неизменная г-жа Перрини, которая вечно попадалась мне на лестнице; она кралась, как призрак, вдоль стены, в длинном покрывале вдовы — корсиканки... По счастью, у меня была соседка Мари — Анто.

Мари-Анто (полное ее имя — Мария-Антония) была женой погонщика мулов из Иль-Рус, который почти всегда был в разъездах. Она жила на одной площадке со иною. Красавицей ее нельзя было назвать, но она была молода и изящна; легкая походка, лукавое выражение зеленых глаз, рот — как гранат, а кое-где, как ни прикрывал на мавританский лад кусок легкого шелка верх и низ ее лица, видны были пятнышки, проступающие при загаре на чересчур белой коже. Поставив на голову фаянсовый кувшин или большую корзину для хлеба, она носилась, хохотала, грудь у нее была высокая, юбка плотно облегла бедра, соседи окликали ее со всех порогов: «Эй, Мари-Анто! Мари-Анто!...»

Мы с Мари-Анто были добрыми друзьями. Вы, может быть, скажете, что это роняло мое достоинство, но, знаете ли, когда живешь по соседству... И к тому же молодому человеку там очень трудно поддерживать знакомства. Префект предупредил меня: на Корсике много девушек на выданье, все красивые, очень красивые, но бесприданницы. И, разумеется, когда приезжает француз, — а французов простой народ называет там *pinsuto*,^[21] а буржуазия — континентальным жителем, — весь остров приходит в волнение. Черные глаза сверкают, приглашения сыплются дождем. В больших промерзших гостиных обметают пыль со старых люстр, снимают чехлы с кресел и клавесинов, и в один прекрасный

день *pinsuto* оказывается женатым на восьмой дочери чиновника мэрии с жалованьем в тысячу двести франков в год. Эти-то причины и удерживали меня от того, чтобы бывать в обществе. К тому же я почти тотчас после приезда схватил лихорадку и редко выходил из дому.

Однажды, когда я сидел у камина и дрожал от озноба, вошла моя соседка; в руке у нее был стакан лимонада... Она, улыбаясь, поставила его на каминную полочку и сказала на самом изысканном французском языке:

— Настой из трав... Это полезно для живот...

То был наш первый разговор. Мне хотелось, чтобы она посидела со мною, но нашу беседу неожиданно прервал грубый голос мужа: «Эй, Мари-Анто!..» И Мари — Анто убежала, изящно взмахнув юбкой.

Не знаю, что она положила в лимонад, только моя лихорадка сразу прошла, но зато меня охватила другая. Иногда я улыбался наедине с собою, думая о своей соседке. Среди самых серьезных дел, на заседании в префектуре я, казалось, ощущал в волосах, в бакенбардах легкий ветерок от колыхания ее юбки. Дома я не находил себе покоя и все время торчал то у окна, то на лестнице. Я ухаживал за Мари-Анто, а она ничего не замечала. Сказать по правде, я действовал осторожно: я побаивался мужа, парня, которого я видел мельком, долговязого, вдвое выше меня, и широкоплечего. Притом у него были братья-великаны, которые приходили по воскресеньям обедать, — человек шесть, бритые, с горбатыми носами, с могучими, как у молодых буйволов, шеями и курчавые, как черные барашки. Страшные люди! Лестница дрожала, когда они поднимались по ней.

Как-то раз, когда они все были в отъезде, я все же решился войти к Мари-Анто. Увидев меня, она не выразила удивления. Я уселся рядом с нею и спросил, где ее муж. Она показала на открытое окно, на гору по ту сторону залива и послала туда воздушный поцелуй. Это малообещающее начало не остановило меня, и я в волнении проговорил:

— *Oh, che mi piace Mari-Anto!* [3]

Вдруг она высвободила жесткую смуглую ручку, которой я завладел, подбежала к сундуку, стоявшему в комнате, открыла его и вернулась с большим трехгранным ножом в руке. *Cotello del marito!*.. Я заставил ее повторить это дважды. То был действительно нож ее мужа. По-видимому, погонщик мулов был очень ревнив, и когда кто-нибудь ухаживал за его женой... Мой ангел грозно сверкнул очами, занес для удара широкое блестящее лезвие и сделал такой жест, словно хотел поразить меня. Я обратил все в шутку, но, в сущности, это произвело на меня сильное впечатление, и в тот день наш разговор на этом окончился. На некоторое

время добрососедские отношения прекратились. «Здравствуйтесь» и «до свидания» на площадке лестницы — и ничего больше.

В последний день карнавала я рано возвращался домой, так как не застал никого в клубе: весь город шумно веселился. На улицах встречались ватаги масок, которые ходили из дома в дом и интриговали всех: в эту ночь гостинные Аяччо открыты до утра, и каждый, кто хочет, может туда войти. На набережной, у самой воды, уличные мальчишки гонялись друг за другом и пели песню, однообразную, точно кваканье лягушек, таинственную и меланхоличную: «*O Ragani!.. O che dotto!..*» («Ах, Рагани!.. Вот ученый!..»)

Я чувствовал себя одиноким, заброшенным в далекие, глухие края... Вдруг, подняв голову, замечаю свет в окне моей комнаты. Поспешно вхожу, и что же я вижу! Расположившегося в моем лучшем кресле маленького советника префектуры в мундире и цилиндре. То была Мари-Анто. В мое отсутствие она перерыла мои шкафы и в полном одиночестве справляла у меня карнавал. Сначала я решил принять вид оскорбленного достоинства. Подумайте только, что было бы, если бы это увидел префект!.. Но что поделаешь!.. Она была так очаровательна в костюме советника, эта маленькая погонщица мулов! Все трещало по швам — расшитые панталоны и белый жилет. Не говоря ни слова, она взяла меня за руку и повела к себе в комнату... Успокойтесь, сударыни, вы можете дослушать до конца!.. Как только мы туда вошли, эта странная особа сделала мне знак обождать, юркнула в альков и минуту спустя появилась оттуда с большой куклой, сделанной из подушки, косынки и платья.

— Вот это Мари-Анто, — промолвила она, смеясь, — а я — *pinsuto*. Сейчас муж вернется домой и застанет *pinsuto* с Мари-Анто. Посмотрим, что он скажет...

Затем она уселась и, обхватив руками свою большую куклу, стала потешно сжимать ее в объятьях, целовать и приговаривать, копируя мое произношение и мои интонации:

— *Oh, che mi piace Mari-Anio!..*

И она смеялась, смеялась без конца. Я же, признаться, не смеялся. Я полагал, что можно было придумать какую-нибудь другую карнавальную шутку, но не успел высказать свое мнение. Внизу неожиданно хлопнула дверь. Тяжелые шаги стали сотрясать лестницу.

— Муж!.. Уходите! — сказала Мари-Анто и задула свечу.

Комната погрузилась во мрак, и там остался только маленький советник префектуры, который сидел в полосе лунного света и держал на коленях Мари-Анто.

Войдя к себе, я прильнул ухом к перегородке и стал прислушиваться.

Честное слово, сердце у меня билось так, как если б я сам сидел там в расшитом мундире!.. Хотя в комнате было темно, долговязый погонщик мулов, входя, должно быть, что-то разглядел, уловил приглушенный смешок — он внезапно остановился и проговорил:

— Che cos'ee?^[4]

Я услышал трение спички о стену, потом хриплый крик, бранное слово, быстрые шаги по комнате и стук открываемого сундука. Ах, друзья мои! Il *cotello del marito!*.. Мне показалось, что я вижу его сквозь стену, вижу широкое трехгранное лезвие... Брр!.. Почти в тот же миг раздался громкий смех, звонкий, серебристый, к нему вскоре присоединился рокочущий бас, добродушный мужской хохот, в котором слышались облегчение и радость. А затем пошли восклицания и поцелуи, поцелуи без конца... Нет, никогда еще мундир советника не участвовал в подобном веселье. Представляете себе, какой у меня был жалкий вид, когда я сидел у себя за перегородкой, в то время как...

— Барон! Вы слишком далеко заходите... — перебила одна из присутствующих дам.

ФОТОГРАФ

© Перевод К. Ксаниной

У них был вид людей с весьма скромным достатком, вся их обстановка умещалась в ручной тележке, а потому с них взяли квартирную плату вперед. Квартира эта из тех, что приходится «сушить» своими боками: они живут на шестом этаже совсем нового дома, на одном из больших незастроенных бульваров, где много дощечек с надписями, строительного мусора и пустырей, обнесенных заборами. Запах свежей краски стоит в трех комнатках, залитых прямо падающим светом, от которого голые стены кажутся еще более неприглядными. Первая от входа комнатка — ателье с застекленным потолком, напоминающим парниковый колпак для дынь, и с переносной печкой, темной и холодной; в топке лежит кучка угля, которую разожгут только когда явятся клиенты. По стенам развешаны семейные снимки: отец, мать, трое детей, сидя, стоя, обнявшись, порознь — во всевозможных позах; затем несколько памятников и выцветшие от солнца виды сельских местностей. Все это относится к тому времени, когда они были богаты и когда отец занимался фотографией для развлечения. Теперь они разорились, и, не зная никакого другого ремесла, он пытается создать его себе из воскресной забавы.



Аппарат, на который дети взирают с боязливым восхищением, занимает почетное место посредине ателье; он словно вобрал в свои медные, сверкающие новизной части, в прозрачные и толстые выпуклые стекла всю роскошь, все великолепие этого убогого жилья. Остальная обстановка вся ломаная, старая, источенная древоточцем, и очень скудная. На матери дрянное, поношенное платье на черного шелка и клочок кружева на голове — одежда продавщицы в лавке, куда редко заходят покупатели. А отец, желая поразить клиентов своим видом, щеголяет в нарядной шапочке, какую носят художники, и в бархатной куртке. В жалком великолепии своего наряда он имеет такой же «новый» вид, как и его аппарат; глаза у него простодушные и удивленные, за высоким, открытым лбом таится множество иллюзий. А как он, бедняга, суетится, как серьезно относится к

своему новому занятию! Надо слышать, как он говорит детям:

— Не входите в темную комнату!

Темная комната! Можно подумать, что это пещера прорицательницы...

А в глубине души он очень встревожен: после того, как он заплатил за квартиру, за дрова, за уголь, у него не осталось ни одного су. А если клиенты не явятся, если выставочная витрина внизу у подъезда никого не приманит, что будут есть малыши вечером?.. Ну, авось, бог поможет... Устройство на новой квартире закончено. Нечего больше готовить, нечего натирать до блеска. Теперь все зависит от прохожих.

Минуты ожидания и тоскливой тревоги... Отец, мать, дети — все стоят на балконе и караулят. Среди множества идущих по улице людей найдется же, черт возьми, кто-нибудь, кто захочет сняться!.. Но нет... Толпа снует по тротуару, люди сталкиваются, расходятся; никто не останавливается... Нет, остановился! Какой-то господин подходит к витрине. Он рассматривает один за другим портреты, у него довольный вид, он сейчас поднимется вверх. Дети в восторге и уже предлагают затопить печку.

— Подождем еще, — осторожно говорит мать. И она права! Господни не спеша продолжает свой путь. Проходит час, другой. Становится пасмурно. Набегают облака. Однако здесь, наверху, можно было бы еще сделать отличные снимки... Э, да не все ли равно, раз никто не приходит!.. Ежеминутно возникают волнения, мнимые радости, на лестнице слышатся шаги, которые приближаются к самой двери, а затем внезапно удаляются. Один раз даже позвонили, кто-то спрашивал прежнего жильца квартиры. Лица вытягиваются, на глаза наворачиваются слезы.

— Не может этого быть... — говорит отец. — Наверно, кто-то снял нашу витрину... Сходи, малыш, посмотри.

Мальчик вскоре возвращается, вид у него удрученный. Вывеска на месте, но ее все равно что нет: никто не обращает на нее внимания.

А тут еще дождь пошел... На застекленный потолок ателье с легким насмешливым стуком падают дождевые капли. Бульвар чернеет зонтиками. Все входят в комнату, запирают окно. Дети зябнут, но семья не решается затопить печку, в которой лежит последний уголь. Все в горестном изумлении. Отец крупными шагами ходит по ателье, судорожно сжимая кулаки. Мать прячется, чтобы никто не видел ее слез... Вдруг один из мальчиков, который воспользовался проблеском солнца и вышел на балкон, начинает барабанить в оконное стекло:

— Папа, папа!.. Кто-то стоит внизу, у витрины!

Он не ошибся. Это какая-то дама, и, честное слово, очень приличная!

Она с минуту разглядывает фотографии, колеблется, поднимает голову... Ах, если бы все эти взоры, устремленные на нее сверху, обладали силой магнита, она бы вихрем взбежала по лестнице!.. Наконец дама решается. Она входит в подъезд, она поднимается наверх. Вот она. Спичка быстро подносится к топке, малышей отсылают в соседнюю комнату. И пока отец поправляет шапочку, мать бросается отпереть дверь, взволнованная, улыбающаяся, скромно шелестя старым шелковым платьем.

— Да, да, сударыня, здесь...

Оба хлопчут вокруг клиентки, усаживают ее. Она южанка, довольно болтлива, но очень приветлива и покладиста — ей не жаль своего профилея. Первый негатив не удался. Велика важность! Начнем снова, только и всего!.. И, не проявляя ни малейшего неудовольствия, южанка опять ставит локоть на стол и подпирает рукой подбородок. Пока фотограф располагает складки юбки и ленты шляпки, слышатся взрывы приглушенного смеха и толчки в небольшую застекленную дверь. Это теснятся дети, пытаясь подглядеть, как отец подсовывает голову под зеленое сукно аппарата и неподвижно замирает, словно апокалиптический зверь с огромным прозрачным глазом. Когда они будут большие, они все сделаются фотографами!.. Вот, наконец, фотограф торжественно приносит хороший негатив, с которого стекает вода. Дама узнает себя в этом сочетании белых и черных пятен, заказывает дюжину карточек, платит вперед и удаляется в полном восторге...

Она ушла, дверь за ней заперта. Всеобщее ликование. Выпущенные на волю дети, взявшись за руки, пляшут вокруг аппарата. Отец, взволнованный первой съемкой, величественным жестом оттирает лоб. Потом, так как день на исходе, мать поспешно спускается купить что-нибудь на обед — вкусный праздничный обед в честь новоселья, а также, — чтобы в деле был порядок, — большую конторскую книгу с зеленым корешком, и в нее красивым крупным почерком вписываются день сдачи заказа, фамилия южанки и цифра кассовой наличности: двенадцать франков! Правда, благодаря паштету и торту с кремом, которыми отпраздновали новоселье, благодаря мелким закупкам топлива, свечей и сахара цифра расходов равняется цифре доходов. Ну так что же! Если сегодня, в дождливый день, в день переезда, заработали двенадцать франков, судите сами, каков будет заработок завтра. И вечер проходит в том, что они строят всякие планы. Просто не верится, сколько замыслов может вместиться в квартирку из трех комнат на шестом этаже, окнами на улицу!..

Назавтра великолепная погода, и ни души. За весь день ни одного

клиента. Что поделаешь! Так бывает во всех коммерческих предприятиях. К тому же осталось немного паштета, и дети не ложатся спать с пустыми желудками. На следующий день опять ничего. Выстаивание на балконе начинается снова, но безуспешно. Южанка приходит за своей дюжиной, и это все. Вечером, чтобы купить хлеба, пришлось заложить тюфяк...

Так проходят два дня, три дня. Началась настоящая нужда. Злополучный фотограф продает свою бархатную шапочку, куртку. Ему остается только продать аппарат и поступить в магазин рассыльным. Мать в отчаянии, приунывшие дети даже не выглядывают больше на балкон.

Но вот в субботу утром, в тот момент, когда они этого меньше всего ожидают, раздается звонок. Это свадьба, целая свадьба взобралась на шестой этаж, чтобы сняться. Жених, невеста, шафер, подруга невесты — всё милые люди, они раз в жизни надели перчатки и жаждут запечатлеть это событие. В этот день заработок фотографа составил тридцать шесть франков. На завтра вдвое больше. Значит, предприятие окрепло... Вот одна из тысячи драм мелких парижских предпринимателей.

КАБЕСИЛЬЯ

© Перевод Р. Томашевской

Священник дослуживал мессу, когда к нему привели пленных. То было в диком ущелье Аричулегийских гор. Обломок скалы, из-под которого торчал огромный корявый ствол фигового дерева, образовал некое подобие престола, покрытого вместо скатерти карлистским знаменем, обшитым серебряной бахромой. Два выщербленных алькаразаса^[5] заменяли сосуды для святых даров, и когда причетник Мигель, который прислуживал во время мессы, поднимался для того, чтобы отложить в сторону Евангелие, было слышно, как в его походной сумке звякают патроны. Кругом с ружьями за плечами выстроились в полном молчании солдаты Карлоса,^[6] преклонив на белый берет одно колено. Раскаленное солнце, пасхальное солнце Наварры, заливало ослепительным светом этот гулкий, знойный уголок ущелья, где лишь изредка пролетающий серый дрозд нарушал монотонное бормотанье священника и причетника. Немного выше, на зубчатой вершине скалы, неподвижные силуэты часовых вырисовывались на фоне неба.

Странное зрелище являл этот священник-военачальник, совершавший богослужение в кругу своих солдат! И как явственно отразилось на лице кабесильи^[7] его двойное бытие! Взгляд фанатика, суровые черты лица, оттененные смуглым цветом кожи, обветрившейся в походе, облик аскета, но без тон бледности, что свойственна монастырским затворникам, маленькие, сверкающие черные глазки, лоб с огромными вздувшимися венами, которые, точно веревками, связывали его мысли, — лоб, за которым таилось несокрушимое упорство... Всякий раз, когда он оборачивался к присутствующим, простирая руки и произнося: «*Dominus vobiscum*»,^[8] из-под его епитрахили высовывалась военная форма, а рукоятка пистолета и ручка каталонского ножа заставляли слегка приподниматься его смятую ризу.

«Что он с нами сделает?» — в ужасе думали пленные и в ожидании конца мессы вспоминали все злодеяния кабесильи, о которых так много рассказывали, злодеяния, создавшие ему особого рода известность в карлистской армии.

Каким-то чудом в это утро святой отец был в мирном настроении. Месса под открытым небом, вчерашняя военная удача, радостное

ощущение пасхального дня, еще доступное этому необычному священнослужителю, — все это накладывало на его лицо отпечаток веселого благодушия. Как только богослужение кончилось и причетник стал укладывать сосуды со святыми дарами в большой ящик, который обыкновенно возили на спине мула в арьергарде отряда, священник подошел к пленным. Перед ним было двенадцать республиканских карабинеров, изнемогавших после целодневного боя и после тревожной ночи, проведенной на соломе в овчарне, куда их заперли после сражения. Пожелтевшие от страха, истощенные от голода, жажды и усталости, они жались друг к другу, как овцы на дворе бойни. Одежда с приставшими к ней клочьями сена, ремни, перекрученные, съехавшие набок, пыль, покрывавшая солдат с ног до головы, — все это придавало еще более жалкий вид побежденным, у которых упадок духа проявляется в физическом изнеможении. С минуту кабесилья смотрел на них, торжествующе усмехаясь. Он без всякого раздражения разглядывал бледных, оборванных и униженных солдат республики, оказавшихся теперь среди упитанных и прекрасно снаряженных солдат Карлоса, среди этих горцев — наваррцев и басков, смуглых и сухих, как сладкие стручки.

— *Viva Dios*,^[9] дети мои! — добродушно промолвил он. — Республика, видно, плохо кормит своих защитников. Вы тощи, как пиренейские волки, что спускаются со снежных вершин к воротам освещенных домов и обнюхивают тухлое мясо... У нас с солдатами, которые служат правому делу, обращаются иначе. Хотите это испытать на себе, *hermanos*? Скиньте ваши гнусные фуражки и наденьте белые береты... Клянусь днем святой пасхи, что всем, — кто прокричит: «Да здравствует король!»-будет сохранена жизнь, а вдобавок будет выдана еда наравне с моими солдатами.

Не успел добрый пастырь закончить свою речь, как в воздух полетели фуражки, а горы огласили крики: «Да здравствует кабесилья!» Бедняги! Они так боялись смерти! И как соблазнителен был запах нежного, розовеющего при ярком свете мяса, которое жарилось тут же, совсем рядом, в ущелье, на бивуачном огне! Вероятно, никто еще так радостно не приветствовал претендента на испанский престол...

— Дать им поесть, да поскорее, — сказал, смеясь, священник. — Когда волки так громко воют, значит, они здорово проголодались.

Карабинеры удалились. Лишь один из них, самый юный, продолжал стоять перед начальником с видом гордым и решительным, который так не вязался с его детскими чертами лица, с едва пробивавшимся светлым пушком на щеках. Его непомерно широкая шинель морщилась на спине

и на руках, из закатанных рукавов торчали тощие кисти рук, — от этого мальчик казался еще более худым и юным. В его узких блестящих глазах — глазах араба, оживленных испанским огнем, — отражалось лихорадочное возбуждение. Кабесилью смутил этот неподвижный пламенный взгляд.

— Что тебе надо? — спросил он.

— Ничего... Я жду, чтобы вы решили мою судьбу.

— Твоя судьба — судьба всех остальных. Я никого не назвал по имени.

Помилованы все.

— Все остальные — изменники и трусы! Только я один не кричал.

Кабесилья вздрогнул и пристально взглянул на мальчика.

— Как тебя зовут?

— Тоньо Видаль.

— Откуда ты родом?

— Из Пуисерда.

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— У республики, стало быть, не хватает взрослых, если ей приходится вербовать в армию ребят?

— Меня не завербовали, падре... Я доброволец.

— А ты знаешь, негодяй, что у меня найдется средство заставить тебя кричать: «Да здравствует король!»?

Мальчик сделал гордое движение рукой, означавшее: «Ни за что!»

— Значит, ты предпочитаешь умереть?

— Да, это во сто раз лучше.

— Ну хорошо... Ты умрешь.

Священник подал знак, взвод, который должен был привести приговор в исполнение, уже выстроился вокруг осужденного, а тот и глазом не моргнул. При виде этого необыкновенного мужества в душе священника шевельнулась жалость.

— У тебя не будет просьбы ко мне перед... Может быть, ты хочешь есть? Или пить?

— Нет! — ответил мальчик. — Но я католик и не хотел бы предстать перед всевышним, не исповедавшись.

Кабесилья не успел еще снять облачения.

— Становись на колени! — сказал он, усаживаясь на камне.

И, когда солдаты отошли, осужденный начал тихим голосом:

— Благословите меня, отец мой! Я грешен...

Исповедь только началась, как вдруг у входа в ущелье загремели выстрелы.

— К оружию! — кричат часовые.

Священник вскакивает, подает команду, распределяет посты, приказывает солдатам рассыпаться в цепь. Сам он, не успев снять епитрахиль, бросается к мушкетону и, вдруг обернувшись, видит мальчика, все еще стоящего на коленях.

— Эй! Ты что тут делаешь?

— Я жду отпущения грехов...

— Ах, да! Я о тебе и забыл...

Медленно и торжественно поднимает он руку и благословляет склоненную детскую голову. Затем, поискав глазами солдат карательного взвода, рассеявшихся в хаосе атаки, священник отступает на шаг, прицеливается и в упор стреляет в мальчика.

ВУДСТАУН

© Перевод Л. Щетининой

Фантастический рассказ

Для постройки города место было великолепное. Стоило лишь расчистить берега реки, вырубив часть леса, бескрайнего девственного леса, раскинувшегося здесь с начала мироздания. И тогда город этот, укрытый со всех сторон лесистыми холмами, спускался бы к самой набережной чудесного порта в устье Красной реки, всего в четырех милях от моря.

Как только правительство в Вашингтоне утвердило концессию, за дело принялись плотники и лесорубы, но такого леса еще никому никогда не приходилось видеть. Впившись в землю всеми своими лианами, всеми своими корнями, он, когда его подрубали в одном месте, выбрасывал новые побеги в другом. Снова и снова лес залечивал свои раны и на каждый удар топора отвечал появлением зеленых ростков. Улицы и площади города, едва проложенные, буйно захлестывала растительность. Стены росли гораздо медленнее, чем деревья, и, едва возведенные, они рушились под напором все еще живых корней.

Когда топоры оказались бессильны, то, чтобы преодолеть это сопротивление, пришлось прибегнуть к огню. День и ночь стоял в лесу удушающий дым, огромные деревья пылали, как факелы. Лес пытался продолжать борьбу, задерживая пожар потоками сока и свежестью густой листвы, под которой не хватало воздуха. Наконец наступила зима. На большие пустыри, где торчали почерневшие стволы, снег обрушился, словно вторая смерть. Теперь можно было строить.

И в скором времени на берегах Красной реки раскинулся огромный, как Чикаго, город, весь из дерева, город широких и прямых, с нумерованными домами улиц, которые расходились лучами от площадей, с биржей, рынками, церквами, школами, с целой системой портовых складов, таможен, доков, пакгаузов и корабельных верфей. Лесной город — Вудстаун, как его назвали, — быстро заселялся любителями необжитых мест. Его кварталы охватила лихорадочная деятельность. А на соседних холмах, возвышавшихся над улицами, где толпились люди, над портом, где стояли суда, притаилась охватившая город полукольцом темная и грозная

масса. Это настороженно смотрел лес.

Он смотрел на этот дерзкий город, отнявший у него берег реки и три тысячи деревьев-исполинов. Весь Вудстаун был построен за счет жизней, похищенных у него, у леса. Он дал городу все: и эти высокие мачты, которые раскачивались там, в порту, и эти бессчетные крыши домов, обращенные одна к другой, и даже самую последнюю хижину на самой далекой окраине, все — даже рабочий инструмент, даже мебель, и он измерял выплаченную дань длиной своих ветвей. Но зато какую лютую злобу он затаил против этого города грабителей!

Пока продолжалась зима, никто ничего не замечал. Жители Вудстауна порой слышали глухой треск в потолках и мебели. Время от времени давала трещину стена, раскалывался в магазине прилавок. Но ведь свежее дерево подвержено случайностям, и никто не придавал этому значения. Однако с приходом весны — весны внезапной, буйной, столь обильной соками, что из-под земли словно доносилось легкое журчание ручейков, — почва начала вздыматься под напором невидимых и живых сил. В каждом доме разбухала мебель, перегородки, доски пола вспухали, как если бы под ними прошел крот. Ни окна, ни двери больше не закрывались. «Это сырость, — говорили жители, — с жарой она пройдет».

Вдруг, на следующий день после сильной бури, которая налетела с моря и вместе с огненными вспышками и теплым ливнем принесла лето, город, проснувшись, ахнул от изумления. Красные кровли общественных зданий, колокольни церквей, полы в домах, даже деревянные кровати — все было покрыто налетом зеленого цвета, тонким, как плесень, легким, как кружево. Это была масса микроскопических почек, где уже различались зародыши листьев. Такое странное последствие дождя позабавило и ничуть не испугало, но к вечеру по всей мебели и стенам стали распускаться листья. Ростки тянулись, на глазах превращались в ветви. Слышно было, как, зажатые в руке, они растут и трепещут, словно крылья.

На другой день все помещения стали походить на оранжереи. По перилам лестниц протянулись лианы. На узких улицах ветви перекинулись с одной крыши на другую, образуя над городом шумящую сень лесных аллей. Это уже начинало тревожить. И пока ученые, собравшись, обсуждали этот необычный случай появления растительности, толпы людей спешили выйти на улицу, чтобы увидеть чудо во всем его многообразии. Возгласы, гул изумления праздной толпы придавали торжественность этому странному происшествию. Вдруг кто-то крикнул: «Посмотрите на лес!» — и все с ужасом заметили, что за последние два дня зеленеющее полукольцо стало куда ближе. Казалось, что лес надвигается

на город. К первым домам на окраинах подступили передовые отряды колючего кустарника и лиан.

Тогда Вудстаун стал постигать происходящее, и его охватил ужас. Было очевидно, что лес шел отвоевывать старое место на берегу реки, а его срубленные, изувеченные, похищенные деревья вырывались из плена, чтобы самим наступать впереди него. Как бороться с этим вторжением? Огнем? Можно спалить весь город. А что могли поделаться топоры с постоянно возрождающимися жизненными соками, с корнями, яростно атакующими почву, с тысячами летучих семян, которые, расколовшись, давали жизнь новому дереву в том месте, где они упали?

И все же люди отважно принялись за дело, взяв в руки топоры. Они беспощадно уничтожали листву. Но все было тщетно. С каждым часом хаос девственного леса, в котором сплетение лиан перепутало гигантские побеги, покорял улицы Вудстауна. Уже началось нашествие насекомых и пресмыкающихся. Во всех уголках появились гнезда, отовсюду слышалось шумное хлопанье крыльев и щебет несчетного множества птичьих голосов. Все зернохранилища за одну ночь были опустошены вылупившимися птенцами. И, словно в насмешку над этим бедствием, среди цветущих ветвей стали порхать бабочки всех цветов и размеров, а предусмотрительные пчелы, которые всегда ищут надежного убежища, уже размещали в дуплах быстро росших деревьев свои соты в знак того, что это надолго.

В шелестящей зыби листвы раздавались глухие удары топоров. На четвертый день вся работа была признана бесполезной. Слишком быстро поднималась трава, слишком она была густой. Ползучие лианы цеплялись за руки дровосеков и сковывали их движения. И дома становились непригодными для жилья. Мебель, покрытая листвой, теряла форму, обваливались потолки, пробитые копьевидными побегами юкки и длинными шипами красного дерева. А на месте крыш раскинулся необъятный купол из ветвей катальпы. Это был конец. Оставалось одно — бежать.

Объятые страхом, жители Вудстауна бросились к реке, унося с собой все, что могли захватить из своего имущества и ценностей; они с трудом пробивались сквозь чащу стволов и ветвей, все теснее и теснее сплетавшихся друг с другом. Но сколько сил им пришлось потратить, чтобы добраться до берега! Набережной больше не было. Здесь шумели одни гигантские тростники. Корабельные верфи, где возвышались строительные леса, уступили место лесам хвойным. А в охваченной цветением гавани суда казались зелеными островками. К счастью, тут

находилось несколько военных фрегатов — на фрегатах люди нашли убежище, и оттуда они могли видеть, как старый лес победно соединялся с новым.

Постепенно вершины деревьев сомкнулись, и под голубым небом, пронизанным солнечным блеском, от берегов реки протянулось необъятное море листвы. Город исчез без следа. Ни кровель, ни стен. Время от времени из чащи доносился глухой шум падения, последний отзвук разрушения, а быть может, удары топора какого — нибудь безумца... И снова трепетное безмолвие леса, пронизанное шелестом и стрекотанием, и тучи белых бабочек, кружащих над пустынной рекой, а там, в открытом море, бегущий вдаль корабль с тремя огромными зелеными деревьями-мачтами, возвышающимися среди парусов, — он уносил последних беглецов, которые покидали бывший Лесной город.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Баччоки, Феликс-Паскаль (1762–1841) — муж Элизы Бонапарт, сестры Наполеона I.

2

Pinsuto — хлыщ (итал.).

3

Ах, как мне нравится Мари-Анто! (итал.)

4

Что такое? (итал.)

Алькаразас — арабский глиняный сосуд.

Карлос (Дон Карлос-Мария-Исидоро де Бурбон, 1788–1855) — претендент на испанский престол, начавший в 1833 году междоусобную войну, продолжавшуюся до 1839 года. Дон Карлоса поддерживали реакционные феодалы и духовенство, а также отсталое крестьянство северных провинций страны.

7

Предводителя (исп.).

Благословение господне на вас (лат.).

Слава богу (исп.).